



О Л Д О С

ХАКСЛИ

ГЕНИЙ И БОГИНЯ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Олдос Хаксли
Гений и богиня

«Издательство АСТ»

1955

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Хаксли О. Л.

Гений и богиня / О. Л. Хаксли — «Издательство АСТ»,
1955 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-098302-5

Любовный треугольник... Кажется, довольно банальная история. Но это не тот случай. Сюжет романа действительно довольно прост: у знаменитого ученого есть божественной красоты жена. И молодой талантливый ученик. Конечно же, между учеником и «богиней» вспыхивает страсть. Ни к чему хорошему это привести не может. Чего же еще ждать от любовного треугольника? Но Олдос Хаксли сумел наполнить эту историю глубиной, затронуть важнейшие вопросы о роке и личном выборе, о противостоянии эмоций разумному началу, о долге, чести и любви. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-098302-5

© Хаксли О. Л., 1955

© Издательство АСТ, 1955

Олдос Хаксли

Гений и богиня

Aldous Huxley

THE GENIUS AND THE GODDESS

Печатается с разрешения Aldous and Laura Huxley Literary Trust, наследников автора и литературных агентств Georges Borchardt, Inc. и Andrew Nurnberg.

– Вся беда литературы в том, – сказал Джон Риверс, – что в ней слишком много смысла. В реальной жизни никакого смысла нет.

– Так-таки нет? – спросил я.

– Разве что с точки зрения Бога, – поправился он. – А с нашей – никакого. В книгах есть связность, в книгах есть стиль. Реальность не обладает ни тем ни другим. По сути дела, жизнь – это цепочка дурацких событий, а каждое дурацкое событие – это одновременно Тэрбер и Микеланджело, одновременно Мики Спиллейн и Фома Кемпийский. Характерная черта реальности – присущее ей несоответствие. – И когда я спросил: «Чему?» – он махнул широкой коричневой дланью в сторону книжных полок. – Лучшим образцам Мысли и Слова, – с шутилой торжественностью провозгласил он. И продолжал: – Странная штука, но ближе всего к действительности оказываются как раз те книги, в которых, по общепринятому мнению, меньше всего правды. – Он подался вперед и тронул корешок потрепанного томика «Братьев Карамазовых». – Тут так мало смысла, что это близко к реальности. Чего не скажешь ни об одном из традиционных типов литературы. О литературе по физике и химии. Об исторической литературе. О философской... – Его обвиняющий перст перемещался от Дирака к Тойнби, от Сорокина к Карнапу. – Не скажешь даже о биографической литературе. Вот последнее достижение в этом жанре.

Он взял с ближнего столика книгу в гладкой голубой суперобложке и, подняв вверх, показал мне.

– «Жизнь Генри Маартенса», – прочел я с равнодушием, с каким обычно встречаешь уже приевшиеся имена знаменитостей. Потом я припомнил, что для Джона Риверса это имя значит нечто большее, для него это не просто знаменитость. – Ты же был его учеником, верно?

Риверс молча кивнул.

– И это официальная биография?

– Официальная литературная версия, – уточнил он. – Незабвенный портрет ученого из многосерийной телетягомотины, знакомый тип: слабоумный ребенок с гигантским интеллектом; страдающий гений, который отчаянно сражается с непреодолимыми препятствиями; одинокий мыслитель и в то же время нежнейший семьянин; рассеянный душка-профессор, вечно витающий в облаках, но, в общем, ужасно славный. По-настоящему же, как это ни печально, дело обстояло отнюдь не так просто.

– Ты хочешь сказать, что книга неточна?

– Да нет, все, что тут написано, вроде бы правда. Но ведь это же все вздор – это не имеет отношения к действительности. И возможно, – добавил он, – возможно, так и следует писать. Возможно, истинная действительность всегда слишком неблагородна, чтобы ее запечатлеть, слишком бессмысленна или слишком страшна, чтобы ее не олитературивать. И тем не менее это раздражает, если хочешь узнать правду: оскорбительно, когда тебя дурят этакой слащавой картинкой.

– И ты собираешься описать все по-настоящему? – предположил я.

– Для широкой публики? Упаси боже!

– Хотя бы для меня. В частной беседе.

– В частной беседе, – повторил он. – Собственно, почему бы и нет? – Он пожал плечами и улыбнулся. – Отчего бы и не устроить маленькую оргию воспоминаний в честь одного из твоих редких визитов.

– Можно подумать, ты говоришь о каком-нибудь вредном дурмане.

– А это и есть дурман, – ответил он. – В воспоминания уходят с головой, как в джин или амиталат натрия.

– Ты забываешь, – сказал я, – что я писатель, а Музы – дочери Памяти.

– А Бог, – живо добавил он, – братом им не приходится. Бог ведь не сын Памяти; Он дитя Непосредственного Восприятия. Нельзя искренне поклоняться духовному иначе, чем «теперь». Из барахтанья в прошлом может получиться неплохая литература. Но мудрости не будет и помину. Обретенное Время есть Утраченный Рай, а Утраченное Время – Рай Обретенный. Что было, то прошло. Раз уж ты хочешь жить моментом, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных моментов. Это главное, чему я выучился у Элен.

Имя девушки вызвало у меня в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом темных, словно у египтянки, волос, – а еще огромные золотые колонны Баальбека и за ними голубое небо и снега Ливанского хребта. О ту пору я работал археологом, а моим шефом был отец Элен. Как раз в Баальбеке я сделал ей предложение и получил отказ.

– А если б она выбрала меня, – промолвил я, – мне тоже пришлось бы этому выучиться?

– Элен имела обыкновение делать, а не читать проповеди, – ответил Риверс. – У нее трудно было не научиться.

– А как же насчет моего писательства, как насчет тех самых дочерей Памяти?

– Можно отыскать способ с толком использовать оба подхода.

– Компромисс?

– Синтез, третью позицию, объединяющую две других. Собственно говоря, нельзя ведь использовать с толком один метод, если по ходу дела не научишься пользоваться вторым. Элен умудрялась брать от жизни все даже на пороге смерти.

Баальбек в моем воображении уступил место университету в Беркли, и вместо бесшумно раскачивающегося колокола темных волос появились седые локоны, вместо девичьего лица я увидел тонкие увядшие черты пожилой женщины. Наверное, сообразил я, она заболела уже тогда.

– Я был в Афинах, когда она умерла, – вслух произнес я.

– Помню. – И он продолжал: – Жаль, что тебя не случилось рядом. Ради нее – ты был ей очень по душе. Разумеется, и ради *тебя* тоже. Умирание – это искусство, и нам в наши годы не мешало бы ему научиться. Полезно понаблюдать за тем, кто его постиг. Элен постигла искусство умирать, ибо постигла искусство жить – жить теперь и здесь, к вящей славе божьей. А это необходимо влечет за собой и ежесекундное умирание собственного жалкого, маленького «я». Живя, как следует жить, Элен ежедневно помаленьку умирала. Когда подошел срок окончательного расчета, практически все было уже выплачено. Между прочим, – заметил Риверс немного погодя, – нынешней весной я был весьма близок к окончательному расчету. Собственно, если бы не пенициллин, меня бы здесь не было. Пневмония, подружка стариков. Нынче тебя воскрешают, так что можешь жить дальше и лелеять свой атеросклероз или, к примеру, рак простаты. Поэтому, как видишь, я существую посмертно. Все, кроме меня, умерли, а мне случайно досталось немного лишку. Если я примусь рассказывать о тех событиях, это будет смахивать на историю о привидениях из уст другого привидения. А впрочем, сегодня ведь канун Рождества, так что история о привидениях как раз кстати. И потом, ты мой старый приятель, и, даже если ты состряпаешь из этого повестушку, что тут особенного?

Его крупное морщинистое лицо осветилось ласковой иронией.

– Если тебе это неприятно – не буду, – заверил я.

На сей раз он рассмеялся открыто.

– «И великие обеты в огне страстей сгорают, как солома», – процитировал он. – Скорее я доверю своих дочек Казанове, чем свои тайны романисту. Пламя литературных соблазнов еще жарче, чем сексуальных. И клятвы литераторов сгорают еще легче, чем супружеские или монашеские.

Я попытался было возразить, но он не стал слушать.

– Пожелай я сохранить это в тайне, – произнес он, – я бы просто ничего тебе не рассказывал. Но когда ты все-таки опубликуешь мою историю, не забудь, пожалуйста, сделать обычное примечание. Мол, всякое сходство персонажей с живыми или почившими – чистое совпадение. Чистейшее! А теперь вернемся к Маартенсам. Где-то у меня был портрет. – Он тяжело поднялся с кресла, добрал до стола и выдвинул ящик. – Все мы вместе: Генри, Кэти, ребята и я. Вот чудеса, – заметил он, поворошив бумаги в ящике, – нашелся именно там, где следует.

Он подал мне выцветший увеличенный фотоснимок. На нем были изображены перед деревянным летним домиком трое взрослых: маленький, сухощавый человек, седовласый и крючконосый, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними – смеющаяся блондинка, широкоплечая и полногрудая, прекрасная валькирия, облаченная в неподходящий наряд – длинную узкую юбку. У их ног сидели двое детей: мальчуган лет девяти-десяти и его старшая сестра с косичками, лет тринадцати.

– Какой он пожилой на вид! – было моим первым замечанием. – Годится своим детям в дедушки.

– И при этом в пятьдесят шесть все еще такой неумеха, что Кэти нянчилась с ним, как с младенцем.

– Довольно сложная кровосмесительная комбинация.

– Но так все и было, – заверил Риверс. – У них получился настоящий симбиоз. Он жил за ее счет. И она охотно дарила ему эту возможность – она была воплощенным материнством.

Я снова взглянул на фотографию.

– Какая очаровательная смесь стилей! Маартенс – чистая готика. Его жена – вагнеровская героиня. Дети – прямо из сочинений миссис Моулзворт. А ты – ты... – Я всмотрелся в жесткое квадратное лицо по другую сторону камина, потом опять в снимок. – Я и забыл, какой ты тогда был красавчик. Римская копия Праксителя.

– Разве я не дотягиваю до оригинала? – огорчился он.

Я покачал головой.

– Взгляни на нос, – сказал я. – Взгляни на лепку челюсти. Это не Афины; это Геркуланум. Но к счастью, девушек не интересует история искусств. Для любых практических амурных целей ты был парень что надо, настоящий греческий бог.

Риверс состроил кислую мину.

– С виду я, может, и годился на эту роль, – произнес он. – Но если ты думаешь, что я мог сыграть ее... – Он покачал головой. – У меня не было ни Леды, ни Дафны, ни Европы. Вспомни, в ту пору я являл собою плачевный результат неверного воспитания. Сын лютеранского священника, а с двенадцати лет – единственное утешение овдовевшей матушки. Да-да, единственное, несмотря на то что она считала себя ревностной христианкой. Малыш Джонни занял и первое, и второе, и третье места; Бог очутился в аутсайдерах. И разумеется, у единственного утешения не осталось иного выбора, кроме как быть образцовым сыном, первым учеником, неизменным лидером школьных состязаний и продираться сквозь колледж и дальнейшую учебу без единой свободной минутки, которую удалось бы посвятить чему-нибудь более трогательному, нежели футбол или клуб хорового пения, более одухотворяющему, чем еженедельная проповедь преподобного Уигмена.

– Но разве девушки позволяли тебе не замечать их? Это с таким-то лицом? – Я показал на фотографию атлета в кудряшках.

Риверс помолчал, затем ответил другим вопросом:

– А *твоя* матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, какой юноша может преподнести своей суженой, – это его девственность?

– К счастью, нет.

– Так-то; а моя говорила. Причем опустившись на колени, в процессе внеочередной молитвы. Внеочередные молитвы – это был ее конек, – в скобках заметил он. – Тут она затыкала за пояс даже отца. Еще легче скользила речь, еще натуральнее звучал нарочито витиеватый слог. Она могла обсуждать наши денежные дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки в оборотах, дословно воспроизводящих Послание к Евреям. Как языковой феномен это было удивительно. К сожалению, я не мог рассматривать ее речи с такой точки зрения. Ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Все, что она говорила пред Богом, следовало воспринимать с сакраментальной серьезностью. Особенно когда это касалось Великого Таинства. Хочешь – верь, хочешь – нет, но в двадцать восемь лет я еще берег для будущей невесты свой свадебный подарок.

Воцарилось молчание.

– Бедняга Джон, – наконец произнес я.

Он покачал головой.

– Вернее сказать – бедная моя матушка. У нее все было так чудесно разложено по полочкам. Сначала инструктор в том же университете, потом ассистент профессора, потом профессор. Выходило, что мне вовсе нет нужды покидать родной очаг. А по достижении сорока лет она замышляла женить меня на какой-нибудь прелестной юной лютеранке, которая возлюбит ее, словно родную мать. Кабы не милость божья, Джон Риверс проделал бы этот путь паинькой. Но милость божья была недалеко – она же, как выяснилось, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после покорения мною степени доктора философии, я получил письмо от Генри Маартенса. Тогда он жил в Сент-Луисе и работал над атомом. Нужен еще один помощник в исследованиях, получил обо мне хороший отзыв от моего профессора, может предложить лишь смехотворно малое жалованье – но мне-то что за горе? Для начинающего физика это была роскошная перспектива. Но для бедной матушки это означало полный крах. Искренне, горячо несчастная вдова поведала обо всем Богу. И, вечная ему за это хвала, Бог разрешил отпустить меня.

Минули десять дней, и я вышел из такси у порога дома Маартенсов. Помню, я стоял там в холодном поту, пытаюсь собрать все свое мужество и позвонить. Точно напроказивший школьник, которого вызвал сам директор. Первый восторг, с каким я встретил свою невероятную удачу, уже давным-давно испарился, и все последние дни дома, а затем и томительные часы дороги были заняты исключительно мыслями о моей несостоятельности. Сколько времени понадобится человеку вроде Генри Маартенса, чтобы раскусить такого, как я? Неделя? День? Да не больше часу! Он станет презирать меня; я превращусь в посмешище для всей лаборатории. И вне лаборатории тоже будет ничуть не лучше. А может, и хуже. Маартенсы предложили мне погостить у них, пока я не устроюсь отдельно. Какая необычайная любезность! И вместе с тем какая дьявольская жестокость! В строгой и изысканной атмосфере этого дома я не премину обнаружить свою истинную суть – я, робкий и ограниченный, безнадежный провинциал. Однако директор ожидал меня. Я стиснул зубы и нажал кнопку. Дверь открыла цветная прислуга той древней разновидности, что встречается в старомодных пьесах. Знаешь, из тех, которые родились еще до отмены рабства, да так и не бросили свою мисс Белинду. Сюжет избитый, но этот персонаж внушал симпатию, и, хотя Бьюла частенько переигрывала, ее мало было назвать сокровищем; вскоре я обнаружил, что она движется прямым к святости. Я объяснил, зачем пожаловал, а она тем временем оглядела меня. Наверное, мой вид оказался удовлетворительным, ибо она тут же приняла меня как давно пропавшего члена семьи, этакого блудного сына, только что от корыта с рожками. «Сейчас я приготовлю вам сандвич и добрую

чашку кофе, – твердо сказала она и добавила: – У нас все дома». Потом открыла другую дверь и впихнула меня внутрь. Я напрягся в ожидании встречи с директором и культурной атаки. Но увидев я подобную сцену лет через пятнадцать, я решил бы, что это пародия братьев Маркс в минорном ключе. Я очутился в большой неприбранной гостиной. На кушетке, с расстегнутым воротничком, лежал седой человек, явно умирающий, ибо он был мертвенно-бледен и дыхание вырывалось из его груди со свистом и хрипом. Совсем рядом с ним, в кресле-качалке – левая рука у него на лбу, в правой томик Уильяма Джемса «Плюралистическая вселенная», – спокойно читала самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. На полу устроились двое детей: рыжеволосый мальчишка с игрушечным заводным поездом и девица лет четырнадцати с длинными загорелыми ногами – она лежала на животе и писала стихи (я заметил строфы) красным карандашом. Все так глубоко ушли в свои занятия – игру или сочинительство, чтение или умирание, – что по меньшей мере полминуты мое присутствие в комнате оставалось абсолютно незамеченным. Я кашлянул – безрезультатно; снова кашлянул. Мальчишка поднял голову, вежливо, но безо всякого интереса улыбнулся мне и опять занялся поездом. Я подождал еще десять секунд; потом в отчаянии шагнул вперед. Поперек дороги лежала поэтесса. Я переступил через нее. «Извините», – пробормотал я. Она осталась безучастна; но та, что читала Уильяма Джемса, услышала меня и подняла взор. Поверх «Плюралистической вселенной» на меня глянули ярко-синие глаза. «Вы насчет газовой плиты?» – спросила она. Лицо ее лучилось такой красотой, что я замешкался с ответом. Мне удалось лишь покачать головой. «Чушь! – сказал мальчуган. – У газовщика усы». «Я Риверс», – промямлил я наконец. «Риверс? – неопределенно переспросила она. – Риверс? Ах, Риверс! – На нее внезапно нашло озарение. – Я так рада...» Но не успела она закончить, как умирающий раскрыл безумные глаза, издал странный боевой клич на вдохе и, вскочив, ринулся к распахнутому окну. «Смотри под ноги! – закричал мальчишка. – *Под ноги!*» Раздался треск. «О господи!» – добавил он со сдержанным отчаянием. Великолепный Центральный вокзал лежал в руинах, рассыпавшись на составные части. «Господи! – повторил мальчик; а когда сестра заметила ему, что нечего божиться, пригрозил: – Я сейчас по правде выругаюсь! Я скажу...» Губы его зашевелились в немом проклятии.

Тем временем от окна донесся жуткий хрип, словно кого-то медленно давили.

«Извините», – сказала красавица. Она встала, отложила книгу и поспешила на помощь. Раздался металлический стук. Подолом юбки она смахнула семафор. Малыш испустил разъяренный вопль. «Ты, бестолочь, – завизжал он. – Ты... слониха несчастная!»

«Слоны, – нравоучительно заметила поэтесса, – всегда глядят себе под ноги». Затем она повертела головой и в первый раз обнаружила мое присутствие. «Они о вас совсем забыли, – с усталым, презрительным превосходством пояснила она. – Так уж тут водится».

Рядом с окном все еще продолжалось медленное удушение. Согнутый пополам, точно от удара в пах, седой человечек боролся за глоток воздуха – но, если верить собственным глазам и ушам, борьба была безнадежной. Около него стояла богиня, похлопывала по спине и приговаривала что-то утешительное. Я страшно перепугался. Ужаснее этого зрелища я в жизни не видел. Кто-то потянул меня снизу за штаны. Я обернулся – на меня смотрела поэтесса. У нее было узкое сосредоточенное личико и чересчур большие, широко расставленные серые глаза. «*Таится*, – сказала она. – Мне нужно три рифмы к слову *таится*. У меня есть *лица* — это куда ни шло, и еще у меня есть *молиться* — это просто потрясающе. Может, *зарница*? – Она покачала головой; затем, хмурясь, поглядела на свой листок и прочла вслух: – *И что-то мрачное таится в душе моей, где не блеснет зарница*. Не очень-то мне нравится, а вам?» Я был вынужден признать, что тоже не очень. «Однако именно это я и хочу сказать», – продолжала она. Меня осенило: «А может, *гробница*?» Лицо ее просветлело от радости. Ну конечно, конечно! До чего же она бестолковая! Красный карандаш застрочил с сумасшедшей скоростью. «*И что-то мрачное таится*, – торжествующе продекламировала она, – *в глуби души моей, как*

в каменной гробнице». Видимо, я не выразил особенного восторга, поскольку она сразу спросила, не будет ли, на мой вкус, удачнее: *в ледяной гробнице*. Не успел я ответить, как раздался очередной хрип удавленника, погромче. Я поглядел в сторону окна, затем – снова на поэтессу. «Мы ничем не можем помочь?» – прошептал я. Девчушка покачала головой. «Я смотрела в Британской энциклопедии, – отозвалась она. – Там написано, что астма еще никому не укорачивала жизни. – И затем, видя мое неослабевающее беспокойство, пожала узенькими, костлявыми плечиками и сказала: – К этому вообще-то при- выкаешь».

Риверс усмехнулся сам себе, смакуя воспоминание.

– К этому вообще-то привыкаешь, – повторил он. – В четырех словах заключено пятьдесят процентов всех Утешений Философии. А остальные пятьдесят процентов можно выразить шестью: «Брат, всяк помрет, как смерть придет». Или, по своему усмотрению, сделать из них семь: «Брат, всяк *не* помрет, как смерть придет».

Он встал и принялся подкладывать в огонь дрова.

– Ну вот, так я и познакомился с семьей Маартенсов, – промолвил он, положив очередное дубовое поленце на кучу тлеющих углей. – Вообще-то я привык ко всему довольно скоро. Даже к астме. Удивительно, как легко люди привыкают к чужой астме. После двух-трех случаев я реагировал на приступы Генри с тем же спокойствием, что и прочие. То он помирает от удушья, а то, глядь, уже совсем свеженький и трещит без умолку о квантовой механике. И эти спектакли продолжались до восьмидесяти семи лет. А я вот, скажем, буду считать, что мне повезло, – добавил он, в последний раз ткнув полено, – если дотяну до шестидесяти семи. Я был здоровяк, понимаешь. Про таких говорят: «Силен, как бык». И в жизни ни разу не чихнул, а потом бац – схлопотал атеросклероз, фьюить – отказали почки! А былинки, ветром колеблемые, вроде бедняги Генри, живут себе да живут, жалуясь на плохое здоровье, пока им не стукнет сотня. И ведь не просто жалуется – действительно страдают. Астма, дерматит, полный набор неполадок в животе, немыслимая утомляемость, неопишуемые депрессии. У него в кабинете стоял шкафчик и в лаборатории другой такой же, битком набитые пузырьками с гомеопатическими средствами, и он никогда не высовывал носу из дома, не прихватив с собой рус токс, и карбо вег, и брионию, и кали фос. Скептически настроенные коллеги высмеивали его за любовь к лекарствам, столь чудовищно разбавленным, что в каждой пилюле едва ли осталось больше одной-единственной молекулы целительного вещества.

Но Генри нелегко было сбить с панталыку. Чтобы отстоять гомеопатию, он придумал целую теорию нематериальных полей – полей чистой энергии, полей отдельно от тел. В те времена это звучало нелепо. Однако не забывай: Генри-то был гений. И теперь его нелепые рассуждения начинают обретать смысл. Еще несколько лет – и они станут самоочевидными.

– Что интересует лично меня, – сказал я, – так это неполадки в животе. Помогали ему шарики или нет?

Риверс пожал плечами.

– Восемьдесят семь – почтенный возраст, – ответил он, садясь на свое место.

– Но прожил бы он столько же лет без пилюль?

– Это типичный образец бессмысленного вопроса, – произнес Риверс. – Нам не дано воскресить Генри Маартенса и заставить его заново прожить собственную жизнь без гомеопатии. Поэтому мы никогда не узнаем, есть ли связь между его самолечением и долгожительством. А раз нельзя дать обоснованный ответ, то в вопросе нет никакого смысла. Оттого-то, – добавил он, – и не существует науки истории – ведь никто не может проверить свои гипотезы. Откуда следует абсолютная бессмысленность любых книжек по сему предмету. Но мы таки читаем эту чепуху. А как иначе найти способ выбраться из хаоса голых фактов? Разумеется, этот путь плох; тут и спорить нечего. Однако лучше уж пойти плохим путем, чем заблудиться вовсе.

– Не очень-то утешительный вывод, – отважился заметить я.

– А лучше ничего не придумаешь – во всяком случае, на нынешнем этапе. – Риверс на мгновение замолк. – О чем бишь я? – продолжал он другим тоном. – Итак, я скоро привык к астме Генри, привык ко всем ним, ко всей их жизни. До того привык, что через месяц поисков жилья, когда мне наконец подвернулась дешевая и не слишком противная квартирка, они не пожелали меня отпускать. «Вы к нам приехали, – сказала Кэти, – у нас и оставайтесь». Старушка Бьюла поддержала ее. Тимми тоже; да и Рут, поворчав, присоединилась к ним, хотя ее возраст и характер отнюдь не способствовали проявлению покладистости в какой бы то ни было форме. Даже великий человек спустился на миг из своих заоблачных высей и замолвил за меня словечко. Это решило дело. Я стал жить у них на законных основаниях, превратился в почетного члена семьи Маартенсов. – Риверс ненадолго умолк, потом заговорил вновь: – Я был очень счастлив, и меня даже начало мучить неприятное ощущение, будто здесь что-то неладно. И весьма скоро я сообразил, что счастливая жизнь у Маартенсов означала измену родному очагу. Это значило, что в течение всей жизни с матерью я не испытывал ничего, кроме скованности и хронического чувства вины. А теперь, став членом языческого семейства, я нашел не только счастье, но и добро; совершенно неожиданно я даже обрел религиозное чувство. Я впервые понял, что означают все эти слова в Посланиях. Скажем, что такое *благодать* — я был полон ею под завязку. *Обновление духа* — я испытывал его постоянно, тогда как единственное, что я чувствовал в пору своей жизни с матушкой, – это мертвящая древность Писания. Или вот Первое к Коринфянам, тринадцать! Как насчет веры, надежды, любви? Не хочу хвастаться, но они у меня были. В первую очередь вера. Искупляющая вера во вселенную и в того, кто трудился со мною рядом. А что до иной веры – до ее простой, лютеранской разновидности, какую моя бедная матушка так долго лелеяла во мне, словно невинность, гордясь тем, что сохранила ее незапятнанной среди всех соблазнов юношества... – Он пожал плечами. – Нет ничего проще нуля; а я вдруг обнаружил, что моя простая вера в продолжение последних десяти лет именно нулю и равнялась. В Сент-Луисе я обрел истинное чувство – настоящую веру в настоящее благо и одновременно надежду, переходящую в твердую убежденность, что все и всегда будет прекрасно. А вместе с верой и надеждой ко мне пришла и любовь. Как можно было питать симпатию к человеку вроде Генри – существу столь не от мира сего, что он едва замечал тебя, и такому эгоисту, что он и не желал никого замечать? К подобному типу нельзя испытывать нежность – но я испытывал! Он нравился мне не только по понятным причинам – благодаря своей гениальности, благодаря тому, что работать с ним значило чувствовать, как умнеешь и прозреваешь не по дням, а по часам. Он нравился мне даже вне лаборатории, и именно из-за тех черт, благодаря которым смахивал на какое-то редкостное чудо-юдо. В ту пору любовь так переполняла меня, что я влюбился бы в крокодила, в осьминога. Вот мы читаем всякую социологическую чушь, всю эту заумную ахинею разных политологов. – Риверс презрительно и сердито похлопал по корешкам увесистых томов, выстроившихся на седьмой полке. – А ведь есть только одно решение, и выражается оно словом из шести букв, таким скабрёзным, что даже маркиз де Сад употреблял его с осторожностью. – Он раздельно проговорил: – Л-Ю-Б-О-В-Ь. А ежели предпочитаешь пристойную расплывчатость мудреных языков: *Agape*, *Caritas*, *Mahakaruna*. Тогда я действительно понял, что это такое. Впервые в жизни – да-да, впервые. Только это и омрачало слегка мое неземное блаженство. Ибо если я впервые понял, что значит любить, как же отнестись к прошлым временам, когда мне только казалось, что я это понимаю, как быть с шестнадцатью годами, проведенными в роли единственного мамочкиного утешения?

В наступившей тишине я попытался припомнить миссис Риверс, которая вместе с малышом Джонни иногда приезжала к нам на ферму провести воскресный вечер – лет этак пятьдесят назад. Мне вспомнилось черное одеяние, бледный профиль, словно на камее, какую носила тетя Эстер, улыбка, чья расчетливая ласковость плохо сочеталась с холодным оценивающим взглядом. К портрету прибавилась память о ледящем чувстве страха. «Ну-ка, поцелуй как

следует миссис Риверс». Я подчинился, но с какой жуткой неохотой! Из глубин прошлого одиноким пузырьком всплыла фраза, оброненная когда-то тетей Эстер. «Бедная крошка, – сказала тетя, – он прямо-таки преклоняется перед своей мамочкой». Преклоняться-то он преклонялся. Да только любил ли?

– Есть такое словечко – омораливаньё? – вдруг спросил Риверс.

Я покачал головой.

– Ну так должно быть, – настаивал он. – Потому что именно к этому средству я прибегал в своих письмах домой. Я излагал события; но я постоянно омораливал их. Откровение превращалось у меня в нечто тусклое, обыкновенное, высоконравственное. Почему я остался у Маартенсов? Из чувства долга. Оттого что доктор М. не умеет водить машину, к тому же я могу пособить по мелочам. Оттого что детишкам не повезло с учителями – двое их наставников никуда не годятся, а я могу кое-чему подучить их. Оттого что миссис М. была так добра, что я почел себя просто *обязанным* остаться и хоть чуть-чуть облегчить ее тяжкую долю. Разумеется, я хотел бы жить отдельно; но разве годится ставить свои личные прихоти выше их нужд? А поскольку вопрос этот был обращен к моей матери, ответ, конечно, подразумевался однозначный. Какое лицемерие, какое нагромождение лжи! Но услышать истину было для нее так же непереносимо, как для меня – облечь ее в слова. Ибо вся правда состояла в том, что я никогда не знал счастья, никогда не любил, никогда так легко и бескорыстно не относился к окружающим, пока не покинул родной очаг и не поселился с этими амали-китянами.

Риверс вздохнул и покачал головой.

– Бедная матушка, – произнес он. – Наверное, мне следовало быть с ней поласковее. Но как бы ласков я ни был, это не могло изменить сути: того, что она любила меня любовью собственницы, и того, что я не хотел быть ничьей собственностью; того, что она осталась в одиночестве и потеряла все, и того, что у меня появились новые друзья; того, что она была приверженкой гордого стоицизма, хотя ошибочно считала себя христианкой, и того, что я превратился в законченного язычника и, стоило мне забыть ее – а это случалось моментально, лишь только я отправлял в воскресенье еженедельную весточку, – как я становился счастливейшим человеком. Да-да, счастливейшим! В ту пору моя жизнь напоминала эклогу, пересыпанную лирическими строчками. Поэзия была повсюду. Вез ли я Генри на стареньком «Максвелле» в лабораторию, подстригал ли лужайку, тащил ли Кэти под дождем всякую всячину из бакалейной лавки – меня окружала настоящая поэзия. Она была со мной и тогда, когда мы с Тимми ходили к станции глазеть на паровозы. И тогда, когда по весне я сопровождал Рут в поисках гусениц. К гусеницам у нее был профессиональный интерес, – пояснил он, увидев мое удивление. – Одна из сторон гробового синдрома. В реальной жизни гусеницы были ближе всего к Эдгару Аллану По.

– К Эдгару Аллану По?

– «Ведь эта трагедия Жизнью зовется, – продекламировал он, – и Червь-победитель – той драмы герой». В мае и июне вся округа прямо кишела Червями-победителями.

– В наше время, – подумал я вслух, – это был бы не По. Теперь она читала бы Спиллейна или какие-нибудь суперсаdistские книжонки.

Он кивнул в знак согласия.

– Все, что угодно, самое дрянное, лишь бы там хватало смерти. Смерть, – повторил он, – особенно жестокая, особенно вариант с разлагающимися трупами – для детей один из предметов жадного интереса. Тяга к ней почти так же велика, как тяга к куклам, или конфетам, или забавам с половыми органами. Смерть нужна детям, чтобы испытать особый, отталкивающе-восхитительный трепет. Нет, это не совсем верно. Она, как и все прочее, нужна им для того, чтобы придать особую форму трепету, который в них уже имеется. Помнишь, какими острыми были в детстве твои ощущения, как глубоко ты умел чувствовать? Что за восторг – малина со сливками, что за ужас – пучеглазая рыба, ну а касторка – суший ад! А какая это

мука, когда приходится вставать и отвечать перед всем классом! Какое невыразимое счастье сидеть рядом с кучером, вдыхать запах лошадиного пота и кожи; дорога уходит в бесконечность белой лентой, и кукурузные поля сменяются капустой, а когда проезжаешь мимо, кочаны ее медленно распаиваются и складываются, словно огромные веера. В детстве ты полон насыщенным раствором чувства, ты носишь в себе смесь всех переживаний – но в непроявленном виде, в состоянии неопределенности. Иногда причиной кристаллизации служат внешние факторы, иногда – твоя собственная фантазия. Тебе хочется добиться какого-нибудь особенно волнующего ощущения, и ты упорно трудишься сам над собой, пока не добудешь его – ярко-розовый кристалл удовольствия или, к примеру, зеленый, с кровавыми потеками ком страха; ведь страх – такое же волнующее переживание, как и прочие, страх – это смешанное с опаской наслаждение. В двенадцать лет я охотно пугал себя ужасами смерти, адом из великопостных проповедей моего невезучего батюшки. А насколько сильнее могла запугать себя Рут! С одной стороны – сильнее запугать, с другой – испытать гораздо более острый восторг. Мне кажется, таковы все девочки. Раствор чувства у них более концентрированный, чем наш, и они умеют скорее добывать большие и лучшие кристаллы самых разнообразных сортов. Не стоит и говорить, что тогда я ничего не смыслил в девочках-подростках. Но общение с Рут послужило богатой школой – даже чересчур богатой, как выяснилось впоследствии; однако до этого мы еще доберемся. В общем, она помаленьку обучала меня тому, что должен знать о девочках каждый молодой человек. Она хорошо подготовила меня к будущему, ведь мне привелось стать отцом трех дочерей.

Риверс отпил немного виски с содовой, поставил стакан и некоторое время в молчании посасывал трубочку.

– Один уик-энд был особенно информативным, – наконец сказал он, улыбаясь воспоминанию. – Это случилось в первую весну моей жизни с Маартенсами. Мы поехали в их домишко за городом, милях в десяти к западу от Сент-Луиса. После ужина, субботним вечером, мы с Рут отправились смотреть на звезды. За домиком был небольшой холм. Поднимаешься туда – и перед тобой распаивается небо от края до края. Целых сто восемьдесят градусов добротной неизъяснимой тайны. Там бы просто сидеть молча. Но в те дни я еще мнил своим долгом развивать собеседника. Поэтому, вместо того чтобы дать ей спокойно полюбоваться Юпитером и Млечным Путем, я принялся сыпать давно надоевшими фактами и цифрами: тут тебе и расстояние в километрах до ближайшей неподвижной звезды, и диаметр галактики, и последнее сообщение о спиралевидных туманностях из Маунт-Вилсона. Рут слушала, но это едва ли способствовало ее развитию; наоборот, она как бы впала в метафизическую панику. Такие пространства, такие сроки, такая уйма недостижимых миров, скрытых за другими далекими мирами! А мы-то, перед лицом вечности и бесконечности, забиваем себе головы разговорами и домашними хлопотами, стараемся куда-то поспеть вовремя, выбираем нужного цвета ленты для волос и зубрим алгебру с латинской грамматикой! Потом в рощице за холмом раздался крик совы, и метафизический испуг сменился натуральным, однако с мистическим оттенком; ведь холодок в животе вызвало то обстоятельство, что совы считаются недобрыми птицами, приносящими несчастье, вестницами смерти. Конечно, она понимала, что все это чепуха; но как здорово прикинуться, что это правда, и вести себя соответственно! Я было начал высмеивать ее; но Рут не желала расставаться с испугом и решительно принялась обосновывать и оправдывать свои страхи. «В прошлом году у одной девочки из нашего класса умерла бабушка, – сказала она. – И как раз той ночью в саду у них кричала сова. Прямо посреди Сент-Луиса, где в жизни не слыхали сов». Как бы подтверждая ее слова, опять раздалось далекое уханье. Девчушка вздрогнула и взяла меня за руку. Мы начали спускаться с холма в сторону рощи. «Я бы умерла со страху, если бы пошла одна, – сказала Рут; а потом, чуть погодя: – Вы читали «Падение дома Эшеров»?» Ясно было, что она хочет рассказать мне эту историю; поэтому я ответил, что не читал. Она стала рассказывать: «Это про брата и сестру по фамилии Эшер, и

они жили в таком замке, а перед ним был черный, мрачный пруд, а стенки все в плесени, а брата зовут Родерик, и у него такое большое воображение, что он может сочинять стихи не задумываясь, и он смуглый и привлекательный, и у него очень большие глаза и тонкий еврейский нос, точь-в-точь как у сестры – они близнецы, а ее зовут леди Магдалина, и они оба очень больны такой загадочной нервной болезнью, а у нее бывают приступы каталепсии...» И так далее, пока мы спускались по мураве холма под звездным небом, – отрывки из По, сдобренные жаргоном школьников двадцатых годов. И вот мы выбрались на дорогу, которая вела к темной стене леса. Тем временем бедняжка Магдалина умерла, а юный мистер Эшер слонялся среди гобеленов и плесени в начальной стадии помешательства. И немудрено! «Разве не говорил я, что мои чувства изошренны? – интригующим шепотом спросила Рут. – Теперь говорю вам: я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много, много дней тому назад». Тьма вокруг нас стала гуще, и вдруг кроны деревьев сомкнулись над нами, и мы очутились под двойным покровом лесной ночи. То тут, то там в рваных прорехах листвы у нас над головой брезжила тьма посветлее, поглубже, а вставшие по обе стороны тропы стены кое-где зияли таинственными провалами, в которых что-то смутно серело и отблескивало призрачным серебром. А как тянуло здесь мокрой гнилью! Как зябко льнула к щекам холодная сырость! Словно фантазия По обернулась зловещей явью. Похоже было, что мы вступили под своды фамильного склепа Эшеров. «И вдруг, – рассказывала Рут, – вдруг раздался такой металлический лязг, точно на каменный пол уронили щит, но вроде как приглушенный, будто бы он донесся далеко из-под земли, потому что, понимаете, под домом был огромный подвал, где хоронили всех из этого рода. А минутой позже она уже стояла в дверях – высокая, закутанная в саван фигура леди Магдалины Эшер. И на ее белых одеждах была кровь, потому что она целую неделю пыталась выбраться из гроба, потому что ее, сами понимаете, похоронили заживо. Живыми ведь часто хоронят, – пояснила Рут. – Из-за этого и советуют написать в завещании: не хороните меня, пока не прижжете мне подошвы докрасна раскаленным железом. Если я не очнусь, тогда порядок, можете начинать хоронить. А с леди Магдалиной так не сделали, а у нее был просто каталептический припадок, и очнулась она уже в гробу. А Родерик слышал ее все эти дни, но почему-то никому про это не сказал. И вот она пришла, вся белая и в крови, и стоит шатается на пороге, а потом она издала ужасный крик и рухнула к нему в объятия, и он тоже закричал, и...» Но тут поблизости в кустах раздался громкий треск. Прямо на тропе перед нами вырос во тьме огромный черный силуэт. Рут отчаянно завопила, словно Магдалина и Родерик, вместе взятые. Вцепилась мне в руку и спрятала лицо у меня на плече. Призрак фыркнул. Рут взвизгнула снова. В ответ опять раздалось фыркание, затем удаляющийся стук копыт. «Лошадка заплутала», – сказал я. Но колени у нее подкосились, и, если бы я не поддержал ее и не опустил потихоньку на землю, она бы упала. Наступила долгая тишина. «Может, хватит сидеть во прахе? – пошутил я. – Давай пойдем дальше». «А что бы вы сделали, если бы это правда было привидение?» – наконец спросила она. – «Я бы удрал и не возвращался, пока все не кончится». «Что значит – кончится?» – спросила она. «Ну ты же знаешь, что бывает с теми, кто увидит привидение, – ответил я. – Они или умирают на месте от страха, или сидят как лунь и сходят с ума». Но она не рассмеялась, как я думал, а обозвала меня чудовищем и ударила в слезы. Слишком драгоценен был темный стукот, выпавший в осадок из ее чувственного настоя под влиянием лошади, По и собственной фантазии, чтобы так легко с ним расстаться. Знаешь огромные леденцы на палочке, которые дети лижут целый день напролет? Таким был и ее испуг – забава на целый день; и она намеревалась взять от него все, лизать и лизать, пока не доберется в конце до самого сладкого. Мне понадобилось битых полчаса, чтобы поднять ее на ноги и привести в чувство. Когда мы пришли домой, ей уже давно пора было спать, и она отправилась напрямик в свою комнату. Я боялся, что ее замучают кошмары. Ничего подобного. Спала без задних ног, а утром спустилась к завтраку веселая, как жаворонок. Однако этот жаворонок не забыл По и по-прежнему интересовался червяками. После завтрака мы с

нею выбрались на охоту за гусеницами и нашли нечто действительно потрясающее – большую личинку бражника, зеленую, в белых пятнышках, с рогом на конце. Рут ткнула ее палочкой, и бедная тварь в приступе бессильной злобы и страха выгнулась сначала в одну сторону, затем в другую. «Он корчится! корчится! – восторженно, нараспев продекламировала Рут, – мерзкою пастью испуганных гаеров алчно грызет, и ангелы плачут, и червь искаженный багряную кровь ненасытно сосет». Но теперь кристалл страха был не больше камушка на двадцатидолларовом кольце, какие дарят невестам в день помолвки. Картины смерти и разложения, которые она смаковала прошлой ночью ради их собственной горечи, превратились сегодня всего-навсего в приправу, и пряный аромат этой приправы мешался со вкусом жизни, лишь слегка дурмана девчухе голову. «Мерзкая пасть, – повторила она и снова ткнула зеленого червяка палочкой, – мерзкая пасть...» И в приливе восторга запела из всей мочи: «Если б ты была единственной на свете...» Между прочим, – прибавил Риверс, – знаменательно, что всякая крупная резня в качестве побочного эффекта сопровождается этой гнусной песенкой. Ее придумали в Первую мировую войну; вспомнили во время Второй мировой и распевали с перерывами, пока шла бойня в Корее. Прилив сентиментальности совпадает с расцветом макиавеллистской политики силы и разгулом жестокости. Стоит ли быть за это благодарным? Или это должно лишь повергать в отчаяние, когда думаешь о человечестве? Ей-богу, не знаю – а ты?

Я покачал головой.

– Ну так вот, – продолжал рассказывать он, – Рут запела: «Если б ты была единственной на свете», потом вместо следующей строчки: «А я был бы мерзкая пасть», затем оборвала песню и внезапным прыжком попыталась поймать Грампуса – коккер-спаниеля, но он увернулся и со всех ног помчался через луг, а Рут в азарте преследовала его по пятам. Я пошел за ними не торопясь и нагнал у небольшого холмика: Рут взобралась на него, а Грампус тяжело дышал у ее ног. Дул ветер, она стояла лицом к нему, словно статуэтка Ники Самофракийской: волосы сдуло назад, маленькое зарумянившееся личико обнажилось, короткую юбчонку трепало, как знамя, а блузка под порывами ветра плотно облегла спереди худенькое тельце, еще не оформившееся, совсем мальчишечье. Глаза у нее были закрыты, губы беззвучно шевелились, точно в молитве или заклинании. Когда я подошел, пес повернул голову и завилял обрубком хвоста; но Рут так глубоко погрузилась в транс, что не слыхала моих шагов. Потревожить ее было бы кощунством; поэтому я остановился чуть поодаль и тихо присел на траву. Вскоре я увидел, как губы ее разомкнулись в блаженной улыбке, а лицо словно засияло внутренним светом. Вдруг это выражение пропало; она тихо вскрикнула, открыла глаза и испуганно, ошеломленно огляделась вокруг. «Джон! – радостно окликнула она, увидев меня, потом подбежала и опустилась рядом на колени. – Как хорошо, что вы здесь, – сказала она. – И Грампушка... Я уж думала...» Она замолкла и коснулась указательным пальцем кончика носа, губ, подбородка. «У меня все на месте?» – спросила она. «На месте, – подтвердил я. – Может, даже слишком». Она засмеялась, и то был скорее смех облегчения, нежели радости. «Меня чуть не унесло», – призналась она. «Куда?» – спросил я. «Не знаю. – Она покачала головой. – Этот ветрюга. Дует и дует. Все у меня из головы выдул – и вас, и Грампуса, и всех остальных, всех домашних, все школьные дела и все-все, что я знала, о чем думала когда-нибудь. Все выдул, ничегошеньки не осталось – только ветер и ощущение, что живу. И оно тоже потихоньку улетучивалось, как и остальное. Дай я ему волю, этому и конца не было бы. Я бы полетела над горами и над океаном, наверное, прямо в одну из тех черных дыр между звездами, на которые мы смотрели вчера вечером. – Она содрогнулась. – Как вы думаете, я могла умереть? – спросила она. – Или впасть в летаргию, и решили бы, что я мертвая, а потом я бы проснулась в гробу». Мысли ее опять были заняты Эдгаром Алланом По. На следующий день она показала мне очередные жалкие вирши, в коих все вечерние ужасы и утренние восторги свелись к набившим оскомину гробницам и зарницам, ее любимому набору. Какая пропасть между *впечатлением* и *запечатлением*! Такова наша жалкая доля – чувствовать подобно Шекспиру, а писать о своих чувствах

(конечно, если тебе не выпадет один шанс на миллион – *быть* Шекспиром) словно агенты по продаже автомобилей, или желторотые юнцы, или школьные учителя. Мы вроде алхимиков наоборот – одним прикосновением превращаем золото в свинец; касаемся чистой лирики своих переживаний, и она превращается в словесный мусор, в труху.

– Может, ты напрасно так идеализируешь наши переживания? – спросил я. – Разве это непременно чистое золото и чистая поэзия?

– Внутри золото, – подтвердил Риверс. – Поэзия по сути своей. Но разумеется, если как следует погрязнуть в трухе и мусоре, который вываливают на нас глашатаи общественного мнения, станешь с самого начала исподволь загаживать свои впечатления; станешь пересоздавать мир в свете собственных понятий – а твои понятия, конечно же, суть чьи-нибудь еще; так что мир, в котором ты живешь, сведется к Наименьшим Общим Знаменателям твоей культурной среды. Но первичная поэзия никогда не исчезает. Никогда, – уверенно заключил он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.